

Тамара Бусаргина

Тамара Георгиевна Бусаргина – родилась в Иркутске. Окончила Иркутский государственный университет и факультет теории и истории искусств Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Кандидат искусствоведения. Автор более сорока работ по истории искусства Сибири, детскому художественному творчеству. Живёт в Иркутске.

«СЕБЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ИЗ СЕБЯ ДОСТАВАТЬ...»

О творчестве Владимира Скифа

О Владимире, тогда ещё Смирнове, я кое-что уже слышала, но познакомилась с ним попозже. Как познакомилась – не помню, а вот при каких обстоятельствах услышала его имя, помню хорошо. Приехали с Глебом на Байкал, и мама нас спрашивает: «Не повстречалась ли вам красивая девушка в джинсах и голубой куртке?» Мы, естественно, никого не заметили – мало ли их тут ходит? Как оказалось, девушка знала от Владимира, что в Молчановском распадке, на самой горке, живёт знакомый ему писатель Глеб Пакулов, и, к маминой радости, попросилась переночевать – мама без нас чувствовала себя неуютно в большом доме. Девушка рассказала, что приехали они с поэтом Смирновым погостить в дом Есипёнка Николая, но хозяина дома не застали. Володя пошёл в магазин, что на причале, да что-то долго ходит, а уже темнеет... Визиту девушки мама не удивилась – однажды так же пришла к нам хорошенькая китайка, знакомая Есипёнка, редактора иркутского книжного издательства, хлебосольного и весёлого хозяина. Домик его так удобно стоял на самом берегу Ангары, миновать его было трудно. Мама успокоила девушку, рассказала ей о таком же случае с Колиной китайкой, – к вечеру в продмаге хлеба не купишь, Володя поплыл в Листвянку, а там из-за шторма застрял – не по зубам нашей «пепелаце», старенькой переправе, байкальские шторма.

Владимир, как и Глеб, службу проходил на Дальнем Востоке: Глеб на море, Скиф в морской авиации. Моряки для Глеба – это уже знак качества. Конечно, в середине семидесятых было не так очевидно, что Скиф будет определять лицо не только сибирской поэзии, но и российской. Как подтверждение моему не единоличному мнению, цитирую слова выдающейся русской поэтессы Светланы Сырневой: *«Поэзия Владимира Скифа неукротима и многогранна. В ней явлена целая гамма чувств и страстей – от любви до ненависти, от праведного гнева до тихого покаяния, от искромётного веселья до ностальгической грусти. Разливаясь, как река в половодье, лирика Скифа созвучна широте и безоглядности русской души».*

И ещё привожу взволновавшие меня строки автографа Сырневой на книге «Ночь ледохода», подаренной Скифу в 2013 году: *«Дорогой Владимир Петрович! Без Ваших горячих, трепетных, выстраданных стихов не было бы русской лирики в той могучей полноте, в том необъятном многообразии, которые так дороги любому чуткому сердцу. Искренне Ваша Светлана Сырнева. Июль 2013».*

В те давние дни моего первого знакомства с Володиёй Глеб, придя от Распутиных, рассказал мне, что Виктория Станиславовна, тогда ещё тёща только Валентина Распутина, поделилась с Глебом своей заботой: «Вот Светочке повезло – Валюша такой талант! А Володя, как?» – «Да также, только в рифму!» – бодро ответил Глеб.

В будущем, насколько мне известно, Виктория Станиславовна младшим зятем была вполне довольна. Оно и понятно – Володя скоро вписался в большую молчановско-распутинскую семью, он открытый, контактный человек. Общение его и с нашей семьёй тоже сложилось как-то просто, естественно. Признáюсь – мы, как старшие по возрасту, иногда и пользовались его добротой. Особенно я: его помощь в тяжкие для меня годы болезни Глеба, внимание его и Жени ко мне после его кончины

для меня бесценны. Их дары со своего огорода, всякие соленья-варенья, а уж грибы... Мне дороги все эти приветы из времён нашей с Глебом баснословной байкальской жизни в пади Молчановской.

Я пишу о том, что знается и помнится из нашего почти пятидесятилетнего знакомства, не претендую вовсе сообщить о Скифе нечто обстоятельное и важное – о нём столько всего написано! Эпизод о девушке в джинсах и голубой куртке, о чём сам Скиф едва ли помнит, хороший повод порассуждать о... да о чём угодно! Можно и о женщинах, ведь это у поэтов существенный, если не основной, повод писать стихи.

Анна Керн утверждала, что Пушкин любил лишь двух женщин – свою Музу и няню! Как много они дали русской поэзии! Няня воспринимается в единственном числе, а вот Муза? Это у кого как... Вот и Блок говорил, что в его жизни были лишь две женщины: первая – жена Люба, Любовь Дмитриевна Менделеева, вторая – все остальные. Женщину, что числится в единственном числе, можно знать всем, а легкокрылую, эфемерную, непостоянную Музу, что под разными именами посещает поэтов, подбрасывает страсть и огонь в их поэтический костёр, лучше пристально не рассматривать. Не надо её пугать. И пугаться не стоит: ну, явится незваной, погостует, и... поминай как звали. Обидно, конечно, что поэзия, великая русская лирическая поэзия, зачастую помнит эту гостьюшку лучше, чем имя той, что помогала мужу творчески состояться во всякие сезоны. Умные жёны всё понимают. Скифу досталась умная. Евгения Молчанова всё понимает – она не только жена поэта, она и дочь поэта. Ей посвящены лучшие стихи – и любовные и оправдательные:

Много в сердце вызревает дум...
Как Горбовский, говорю стихами:
«Не ревнуй!
Я с ней делил свой ум,
Как вино холодное в стакане».
Ты со мной во сне и после сна,
Я тобою – перенаселённый,
Потому слоняюсь дотемна,
В разных женщин
и в стихи влюблённый.

Я влюбляюсь, я горю, как спирт,
И сгораю, потухаю быстро.
Ты прости мне
искромётный флирт –
Это искры, это только искры.

Конечно, бывает по-всякому – я выбрала варианты, наиболее, на мой взгляд, подходящие нашему случаю. Особенно Блок – «она пришла с заката... звала меня куда-то...». Всё это поиски «вечно женственного», чувственного, творческого... Мы знали – Скифу категорически противопоказано жить в «пустотах нелюбви».

Манок любви звучит, как песня счастья,
Как пламень, полыхающий в крови,
Во имя жизни и во имя страсти
Слепой, всепобеждающей любви.

Я чувствую, увы! Я прорицатель чувства.
Я чувствами живу. Я чувствами богат.
Чувствительность, любовь –
высокое искусство,
Как молнии огонь, как громовой раскат.

Любовь витает повсюду и в любом обличье:

Я до сих пор сижу, гадаю,
Как много на земле ворон.
Но лишь одна не улетает,
Кричит: – Люблю! И я влюблён.

Влюблён, пока не встретил белую ворону, «что мне дыханье принесла». Мне представляется, что его сердце, словно реактор с термоядерным топливом, но, кажется, горение безотходное и безопасное – «я ни одну из вас не бросил». Он готов «стреляться на дуэли за всех на свете оскорблённых женщин», потому что без них, так окрашивающих всякую любовь, – никуда! Любовь вплетена во всё видимое и невидимое, любовь сопровождает поэта в полёте «по краю космоса», в обыденной жизни выступает как «целительный глоток святого вещества», переживания любви помогают приятию расставаний, как некую неизбежность, как смену времён года:

В моей душе не гаснет осень
Хотя Байкал застыл уже.
Холодным инеем заносит
Мою тропу к твоей душе.

Признаки очередного увлечения Скифа Глеб замечал и даже завидовал. А я бы уж точно постаралась не замечать влюблённостей Глеба, если бы это продолжило его стихотворчество. Да ладно – никто не разберётся, да и я тоже не знаю, что значили женщины в творческой судьбе Скифа, да и сам он заблудился... *«Простите, женщины! // Я с вами // В леса дремучие забрёл».*

Это прекрасно – там, в дремучих лесах, наяды, которые, как известно, плещутся не только у ирландских скал, напели ему такую чудесную песню – заглянул поэт в чистый, прозрачный лесной ручей:

Так много внутреннего света
В твоих глазах, в лице твоём,
Что кажется – сияет это
Живой, огромный водоём.

Сияет снег, сияет небо...
Ты так близка по свету им,
Что я подумал: ну, а мне бы –
Быть отражением твоим.

Белеет инеем ограда.
Зима справляет Рождество.
А ты, как тихая лампада,
Стоишь у сердца моего.

И никаких там жадных аорт и смертоносных скорпионовых поцелуев.

Скиф понимает женщин-поэтов. Тех, кто был рядом, – почитайте его стихи о Татьяне Суровцевой. Понимал и всех дальних, ушедших:

Иду по осенним последним цветам,
По лапкам сухим иван-чая,
По жухлой траве, по истекшим годам,
Потери свои различая.
За мной не одна продвигается тень.
Теней, как деревьев – не меньше...
И тени за мною следят целый день
Глазами покинутых женщин.
Они молчаливы. Я тоже молчу,
Ступаю, прощенья не чая.
Послушно тяжёлые тени влачу
По лапкам сухим иван-чая.
От них не избавиться, их не предать.
Я отдан им всем безраздельно.
Мне с ними, наверное, век коротать
И помнить о каждой отдельно...

Удивляться тому не надо – поэт всегда поймёт поэта. Удивимся другому – как можно уложить мятежную суть Марины Цветаевой в четыре строчки:

И дружила – не служила,
И кружила – не ждала,
В небе звёзды всполошила
На земле колокола.

Ёмко и точно. Как древнегреческая эпитафия.

А что уж говорить о знакомых женщинах-поэтах. Я тоже знала, не однажды видела в Иркутском художественном музее замечательного поэта Светлану Кузнецову. Она приходила в музей с Георгием Леви. Художник звал её Ундиной. Кузнецова оправдывала это имя. Женщина-волна, дева-волна, жаждающая земной любви и понимающая её обречённость. Лицо Кузнецовой было чрезвычайно привлекательно, лёгкая «гурановость» придавала ему пикантность. Высокая «бабетта», большие немигающие глаза, «нездешность» которых Светлана подчёркивала невероятным макияжем – в те времена было не принято так выделять глаза – всё это действовало на мужчин неотразимо (кто в Москве к ней только не сватался, даже Арсений Тарковский). А я вот думаю – неужели отбил охоту всякого замужества у Светланы мой однокашник Карякин, незаметный (я его имени не запомнила), бесцветный человек, за которым она тогда была замужем? Может, я и ошибаюсь, но, судя по стихам, женски-вселенски-печальным, счастливой её не назовёшь. Ранняя смерть Светланы Кузнецовой отозвалась в Иркутске болезненно. А вот как она отозвалась в душе Владимира Скифа:

Запою твои горькие песни,
В изголовье поставлю свечу,
Зашепчу над тобою: «Воскресни!»
И услышу в ответ – «Не хочу!»

Не хочу. Ты моё «Завещанье»
Прочитай – и узнаешь тогда,
Что меня моё чёрное знанье
Торопило уйти навсегда.

Встало куполом Чёрное Знанье
Посреди затверделого дня,
Мне присвоило новое званье...
Вот и вы проводили меня.

Это званье пойдите – измерьте,
Суетливое дело верша.
Это знанье – из жизни и смерти,
До него достигнула душа.

Потому-то и живо сознание,
Что с души начиналось, с неё.
Я-то знала, храня, как преданье,
Это вещее знанье моё.

Понять, сострадать, помогать людям чем можешь научила Владимира большая дружная семья. У него пять сестёр и – вместе с ним – трое братьев. Какой счастливец! Семья сделала его ответственным человеком. В моей семье это поняли быстро. В пору, когда у Скифов ещё не было бани, он приводил своих прелестных дочек в нашу. Мама моя не могла надивиться на него – такой прекрасный отец из него вышел! Да он и брат прекрасный, и дед заботливый! Он умеет отвечать за всё – за семью, страну и поэзию. А главное – он пишет прекрасные стихи:

В небе – утро светлое,
Мокрая лоза.
Воскресенье вербное
Чистая слеза.

Молодые, терпкие
Веточки сломлю,
Воскресенье вербное
В сердце расстелю.

Выйду к Божьей матери
По её следам,
На церковной паперти
Нищему подам

Воскресенье вербное,
Звонкий благовест.
Оживёт над церковью
Золочёный крест.

Поплывёт над Родиной,
Осенит поля.
Видится не проданной
Русская земля.

Рыцарское отношение к поэзии роднит Скифа с Геннадием Гайдой, но есть маленькая разница – Гайда предпочитал и вдохновенно рассказывал публике о том, что было уже отобрано самим временем, а Скиф, словно боясь упустить хоть какие-то крупинцы поэзии в своей округе, непонятным чутьём отыскивал их в Усолье, Ангарске и бог знает где. Вбежит, бывало, в нашу кухню, восторженный, с тоненькой книжечкой в руке, которую сам же и помог издать, засадит нас куда-нибудь в укромное место (это, как водится, за кухонный стол) и заставляет слушать блистательные (у него они все блистательные!) стихи какого-нибудь начинающего поэта, напечатанные в местной, нашей или другой какой провинциальной прессе. Глеб слушает внимательно, стараясь уловить, не пропустить главное, смотрит на Володю с надеждой, что всё «блистательное» впереди. Где среди поэтов сыщешь такую щедрость?

Я с некоторой оторопью посматриваю на семитомное издание его трудов, а ведь есть ещё двухтомник и десятки единичных изданий, и не только стихов, а уже и прозы. Скиф просто поражает неслыханной по мгновенности реакции на всё – на высверки «дня сущего и грядущего», на события тысячелетней давности, на людей, живущих или живших рядом, и совсем необязательно близких по трудам и духу, просто соратников по выступлениям и дачным заботам. Он почтил своими стихами память поэтов, писателей, художников и даже философов, русских и зарубежных, давным-давно и недавно ушедших от нас. И кажется, что рифмованный отклик на событие, встречу, на прочитанное и увиденное ему ничего не стоит, всё происходит как-то естественно, без особых усилий и насилий над собой. Он не ждёт, когда «призовет поэта к священной жертве Аполлон», для него «заботы суетного света» тоже повод для поэзии. Глеб не очень удивлялся широте интересов Скифа, даже считал, что жажду чтения он, как Глеб и Геннадий Гайда, приобрели во время морской службы. Но откуда у него это умение всё виденное и слышанное мгновенно, с полоборота зарифмовать, причём сильно, образно:

В меня бросают люди якоря,
И чайки в сердце падают отвесно,
И даже шторм, меня благодаря,
В моей душе отыскивает место.

Это четверостишие я цитирую из стихотворения Скифа 1964 года, когда матросу Володе Смирнову едва исполнилось 19 лет.

Как бы то ни было, а благодарный землянин лет этак через сто-двести, а то и гораздо раньше узнает о тех поэтах, писателях, художниках Иркутского Прибайкалья, которые по каким-то причинам не вошли в антологию культуры, но жили-были, творили у всех на виду. Будущие исследователи будут дивиться предусмотрительности нашего поэта, который пренебрёг русским «авось», остановил время

в его зримых приметах, показал не только события (кое-какие сведения о них могут и сохраниться), а пульсацию событий, их переживания, думы, печали и радости поэта. Словом, оставил образ своей невозвратной России. А следующие трудящиеся земляне, те, которым удастся благополучно пережить времена всеучёного Водолея, например орнитологи, дендрологи, всякие флористы, точно воздадут хвалу человеку, не позволяющему себе неряшливо, без внимания и должного пиетета относиться ко всему вокруг тебя летающему, ползающему, растущему и пахнущему.

Поэт и критик Юрий Брыжашов из Краснодарского края решил посчитать всех персонажей, кому были адресованы стихи. Вышла немислимая цифра – 350. Хотела и я последовать его примеру, подсчитать всех птичек, насекомых, какие попались Скифу на глаза и в строчку, да побоялась. Не справлюсь! Нет таких птичек, которых у нас нет. Кроме одной, что вызвало у меня некоторое опасение: будущие диссертанты копыя сломают, исследуя особенности пищевого поведения байкальского попуга. Энтомологи тоже позавидуют: они, возможно, потеряют способность летать по небу с кузнечиком, как это умел делать Скиф:

На Байкале
У меня между пальцев
Вырастают перепонки...

...Наутро
Я летаю по небу
С красным кузнечиком...

А лето на ключ будут запирают уже не муравьи по каким-то им завещанным предками приметам, а программисты по «исчислению математических таблиц»:

Стало сыро, и голо, и пусто
Посреди обнажённых ветвей.
Осыпаются листья и чувства,
Запер лето на ключ муравей.

Не станем завидовать – не видать им синих мотыльков, что пляшут над высыхающей лужей... И деревья все воспеты, и травы все при деле, – Скиф даёт отцовский совет дочери Саше быть благодарной лопуху, «сторожу каждой избы», как благодарен он, посвятивший целые стихи жаркам, колокольчику, кровохлёбке, ромашке, шиповнику, можжевельнику, кукушкиным сапожкам. Это не просто наблюдения природы, не просто экспонаты его поэтического гербария – они «помочи» России:

Польнь, польнь – душистая трава –
То зелена, то от печали ржава.
К тебе приходит русская вдова
И приникает горькая Держава.

Пыталась представить, как бы мог выглядеть такой вот памятник-ковчег, где вся живность помещалась. Только в сердце поэта!

Я часто замечаю за собой такую странность, просто какую-то навязчивую идею, желание определить главное свойство человека. Почти у всех, с кем меня сводила судьба, я пробовала отыскать некую формулу их бытия, нечто главное, что определяет отношение к миру, к окружению. Я поняла – дело это зряшное. А вот по отношению к Скифу я, кажется, нашла эту формулу. **Открытость миру** – вот его главное свойство. Это свойство не приобретаешь, оно даётся рождением и, кому повезёт, остаётся из детства. Внутри Скифа действует антенна, настроена она на всё сразу – на далёкое и близкое, на все стороны в пространстве и во все протяжённости во времени. Вселенная Скифа необъятна – от родной деревни, где Дёмушка от обиды плачет, до Полинезии, куда Гоген спрятался от цивилизации, ему есть дело до малой птахи, зябнувшей в байкальскую стынь и до Млечного Пути. А Млечный Путь совсем рядом, он нежно вплёлся в гриву жеребёнка (представьте, какая фантастическая цветовая феерия, сродни восприятию ребёнка). И тут же обобщение взрослого – «шла работяга-лошадь по земле // несла на холке мирозданье». Вот так просто у поэта Скифа небесное опускается на землю,

отепливается и одомашнивается: все дачные домашние хлопоты, будь то засолка грибов и огурцов, колка дров – всё это «живой водой в невидимом ковше» освящает сам Николай Угодник. Конечно, байкальской водой – где чище-то сыщешь? У Скифа заоблачные миры всегда где-то рядом, они неусыпно бдят мир людских забот, малых и больших, «тот мир, где жили мы с тобою», мир природы, мир семьи, мир страны. И это всё Байкал.

Много пишущего (пером и кистью) народа в семидесятых-восемидесятых годах поселилось на Байкале, но ни в чьей судьбе он так явственно не отразился и никто так, во всю ширь и глубину, его не отобразил. Байкал, допустим, у Глеба Пакулова в романе об Аввакуме выявлен опосредованно – мятежный протопоп сродни Байкалу с его необузданной стихией, свойственники они и по-другому: Аввакум и Байкал, каждый по силам своим, призваны хранить вековечные устои на земле родной и на тверди земной. Байкал Скифа многолик.

Он – вещий, вечный, драгоценный,
Он место в космосе искал.
И если есть душа Вселенной,
То это всё-таки Байкал.

Он космическое явление, он «процеживает звёзды ковшом безмерной глубины», с его утёсов видна вся вселенная, его всесилье таково, что неистовство двух байкальских, губительных для людей ветров, дикой Сармы и коварного Баргузина, Байкал воспринимает как озорство двух подгулявших бродяг:

И вот гудят, беснуются, воркуют,
Друг друга
Стороною облетая,
Два ветра,
Два байкальских властелина:
И Баргузин,
И дикая Сарма.

Для Скифа это лишь одна из его ипостасей, о неистовом Байкале у него много стихов, но ещё больше о другом – когда волны приходят «почесать о камни // свои аквамаринные спины // и, словно нерпы, // резво унести».

Утром холод стоит и целуются флоксы,
Чтобы завтра себя от мороза спасти.
Осень падает навзничь, и некая плоскость
Порывается в космос её унести.
Неужели навек там останется осень,
Её тёмный багрец упадёт на звезду.
Неужели меня моя стылица бросит,
На свидание к ней я уже не приду.

Такому Байкалу больше доверия, появляется надежда – «неужели меня моя стылица бросит?». И действительно, уж если и не совсем бросит его мучить эта самая коварная **стылица** (и где слово взял?), то преобразуется она в тихую грусть, умиротворение, примирит с жизнью. Прекрасное, лучшее для души состояние: именно тогда рождаются стихи, которые хочется перечитывать. В природе всё ясно – никто и ничто не покушается на извечный порядок. И пусть так будет всегда:

Кроны пышные распарив,
В знойном воздухе, в лучах
Дремлют кедры-государя
С думой древнею в очах.

Именно в такие минуты душевного затишья рождается щемящая душу жалость и любовь к Байкалу:

Байкал влажно утыкается
В мою ладонь,
Ища сердечной защиты –

это можно написать лишь от отчаяния, когда со своего берега отчётливо видишь дымы из труб БЦБК. Очень важная сторона байкальского бытия (может, с неё надо и писать эти заметки) – Скиф как байкальский дачник. Определяющим здесь будет слово «байкальский»: если бы дело состояло в саде-огороде и его плодах, то для этого в наших краях есть более благоприятные места. Но земля, обихожённая прежними хозяевами, деревенские корни Скифа сделали своё дело – для него «всё звучит с душою в лад», когда потрескивает печка, младший брат прибирает двор, и всё в радость:

Прошёл алмазный дождь, полил живые грядки,
За всходами следить желанно, сладко мне,
На даче у меня сегодня всё в порядке –
Вот только нет его в запущенной стране.

Простое дело – копать грядки или наблюдать, как *«Выбирается жук из расщелины // и туманы вздыхают коровами»*. И тут же «...является утро с обновлениями» и вот его роскошное начало:

Грянет лето, взорвётся крапивою,
Лопухами, как мамонт, ушастыми,
Лебедю, как дева, красивою
И махровыми маками красными.

Есть и другие простые и не очень дела у Скифа, но все они вплетены в очень естественное, но такое обычное дело, которое он обозначил для себя так: «Я неусыпно стерегу Россию». Никто в Иркутске не написал о России столько стихов. Многие из них не только публицистического, но и душевного свойства. Не однажды слышала, мол, проходные стихи, «на потребу». Да, на потребу, прежде всего на потребу собственной его души, души русского человека, которому судьбой суждено жить на пространстве в одиннадцать часовых поясов, в стране, которая и не страна вовсе в обычном понимании этого слова, а, как говорила Екатерина Великая, континент – куда ж нам деться от козней, от зависти, которую извечно питают к нам «все богомерзкие умы, все богохульные народы»? В любовной и пейзажной лирике у поэта много разных смысловых, чувственных, образных значений, найдёшь желание поиграть со словом, увидишь неожиданно придуманный, затейливый звукоряд, а в патриотической лирике всё предельно ясно, непреложно, демаркационная линия «свой-чужой» чётко, без всяких полутонов, прочерчена.

Скиф убеждён – не на земле, а «там, на небе, свивается русская нить». А тогда что нам остаётся – любить. Любить Отечество, «которое Бог послал». И тогда рождаются строки, которые на чью-то потребу не пишутся.

К родной земле любовь невыразима,
Когда царит осенняя печаль.
Моя душа, заботами теснима,
Уносится в неведомую даль...

Душе от счастья никуда не деться,
В родном краю смогла себя согреть.
Душе охота пасть и разреветься.
И посреди России умереть.

В родном краю, где вольно дышит Байкал, звучит в бурю как тысячи органов и издаёт в штиль тенькающие береговые всплески, Скиф обострил слух – в его поэзии много звуков. Они навеяны морем, живущим в невероятном звуковом диапазоне, жизнью природы и просто бытом: каплет роса, тикают часы в маминой спальне. Он часто прибегает к ассоциациям, всяким, бытовым и культурным – «небо... как серая шейка // припустилось на озеро дней». У него много всякого движения, порой несусветного – «сумерки встали на лапы», «качается время», много глаголов. Вкупе со сравнениями они создают живой кадр:

Тишина. Вдруг старый тополь
Зазвенел, как истукан,
А потом завыл, затопал
И захлопал ураган.

Когда такое читаешь, то тебе и думать некогда – как это истуканы звенят. Действительно, звона, и хлопа, и мистического движения – здесь много. Всё четверостишие гудит, топаёт, хлопает. Я это не читала, а смотрела, как мультик. Байкал многоцветен, но, насколько я знакома с байкальской живописью иркутских художников, ни один закат, ни один рассвет, ни просто панорамное полотно не укладывается в нечто цельное, собирательное, обобщающее. Другими словами – этюды не хотят складываться в картину. Даже у Георгия Нисского и Рокуэлла Кента. И дело не в мере таланта художника, а в свойствах самого Байкала – он не терпит устойчивых состояний, он пребывает в переходном. Он так живёт и дышит. У Скифа много этюдов – восходов, заходов солнца, таинственных глубин и тихих заводей, где прячутся глупые мальки. Но я бы вполне могла принять многие стихи Скифа за картину, портрет на байкальском фоне. Например, «Сегодня тучи над Байкалом друг друга брали на таран // Я видел: молния скакала // Как белый выстрел по горам». Я вообще люблю, даже ищу в поэзии картины. И вижу их – это профессиональное. Вот попалась на глаза такая милая картинка:

Хрустящий воздух.
Свет сугроба.
И тишина. И белизна.
Сухие зонтики укропа
На снег роняют семена.

Байкал не соразмерен человеку. Нельзя объять необъятное. Помню – как-то под осень я ехала в порт с последним пароходом. Ещё в Листвянке заметила, что луна полная, значит, ехать будем по лунной дорожке – не впервой. Так и ехали. Покойно, красиво. Вдруг я обернулась назад и не узнала луну – линза Байкала сделала её огромной, в полнеба, кроваво-красная, она низко висела над горизонтом воды. Я осталась наедине с чем-то огромным, невиданным, неумолимо раскалённым, и это нечто на моих глазах быстро погружалось в воду, во тьму. Не помню, сколько времени продолжалась эта Дантова мистерия. Разве это можно описать? Разве можно передать мои чувства восторга-страха? Читаю у Скифа: «горит Байкал серебряный, хрустальный, лазурный, перламутровый, зелёный, свинцовый, сизый, дымчатый, туманный, чешуйчатый, глубинный, золотой». А тот, который я видела в ту ночь, какой? Может, это и был «планеты совестливый глаз», который возник у Скифа? Из множества поэтов, писавших о Байкале, так никто не сказал:

Потом, расслабленный, в печали
В упор разглядывает нас,
Моей тайги глазной хрусталик,
Планеты совестливый глаз.

Недавно, чтобы развеять кое-какие сомнения по поводу поэмы «Месяцеслов», я спросила у Володи:

– Ты как её писал? Из старых стихов составил? Или летом про лето, а зимой про зиму? Оказалось неожиданно просто – сидел в рождественские дни в городе, отчасти в деревне Ширияево в гостях у земляков Куклиных и целый год вспомнил. Не какой-нибудь конкретно, а просто год. Многое прояснилось. Писан «Месяцеслов», что называется, «в один дых», а потому весь годичный цикл являет собой некую цельность, когда круговорот жизни людской на отрезки не поделишь. А потому в «Месяцеслове» Скифа, в отличие от «Месяцеслова» Байбородина, годичный круг жизни обозначен не в хронологическом, не в событийном значении, не вплетён, как положено, в трудовые земледельческие будни и праздники. Год у Скифа живёт в чувственном, каком-то дыхательном измерении, вот так – «вдох-выдох». А макушка года чуть сместилась с макушки лета, апогей авторского переживания природы и, возможно, творческого взлёта – это янтарная пора август – сентябрь. Станный какой-то месяцеслов. Драматургию всего цикла определил январь, где весь месяц, как сутки – с восхода до заката. Точно так же и весь год – от восхода до заката. И всегда восход такой: «но вот уже рассвет заговорил стихами // и счастье, как цветок, // взошло в моей душе». В природе всё хорошо, всё в свой черёд, а у людей, когда уходят годы, уходят и друзья, «стреляют в Белый Дом // и вздрагивает свечка // и ходят мимо сна тяжёлые кресты». Много о чём можно поразмышлять, читая «Месяцеслов». Я, допустим, пожалела, что Пётр Первый изменил название месяцев – всё было так точно. «Завы-

ла февралём космическая глотка»... жуткий, прямо скажем, образ, да ведь так оно и быть должно, февраль по-старому – «лютый», а колючий январь и прозван «сичень», и груды снега в декабре дело обычное – он, декабрь-то, недаром «грудень». И все другие месяцы несли положенные им смыслы. Но русские смыслы у нас не в чести.

Глеб и я знали, что Скиф – человек широких интересов, много читает, знает, как никто в Иркутске, западную поэзию, у него большая библиотека по искусству. Но, честно скажу, мы не очень понимали, как возник и для чего ему обширный литературно-художественный помянник. Что это – записи трудолюбивого школяра, конспект-самоучитель в стихотворной форме? Тщеславное желание открыть читателю нечто, что никто до него не заметил? Похвастаться – вот какой я эрудит?

Со временем я, кажется, поняла, для чего понадобилось Скифу это невиданное и неслыханное дело. Мы, русские, люди эпитетеевской культуры, мы должны непременно заглянуть вглубь времён, чтобы хоть что-нибудь понять про нас, сегодняшних. Оглядываться назад – к этому у нас особый вкус. Даже, кажется, был с Глебом разговор на эту тему, что отвечал Володя, уже не помню, но что бы ответил сейчас, догадываюсь. Прошлое для Скифа – естественное окружение, «живая городьба веков»: если она есть, то «ночь, как косточка черешни, за-ка-ты-ва-ет-ся под кровать». То есть это даже не просто «хочу всё знать». Это один из путей к себе через историю, традиции. В этом же ключе можно понять «Слово о полку Игореве». Володя не раз нам читал это, как сам определил, «поэтическое переложение с древнерусского». Историзм в подходах к событиям какой угодно временной дальности основан на убеждении, что сущность человека не меняется, меняется лишь антураж события, в котором проявляется человеческая сущность. Те же страсти, своеволие, те же распри «князь на князя» и та же правда – «лучше быть убиту, чем полонёну». Доставшееся нам Слово-свидетельство от тех времён провоцирует соблазн – нет, не потягаться, это бессмысленно, а примерить – в пору ли нашему слову «слова старое времени», возможно ли ими передать смысл, дух и музыку «Слова»? И, видимо, не покидает Скифа надежда, сопоставив прежние времена с сегодняшними, попытаться «русский узел развязать»? Попытка не пытка... Помню, после одного из прочтений (а Скиф прекрасный чтец) Глеб сказал: «Главное, уловил кое-какую музыку. Ведь там, в “Слове”, полифония». Кое-какую музыку – это уже того стоило.

Я плохо представляю себе, как писал Володя стихи о давным-давно и не очень давно ушедших творцах. Их много, но кто-то из них так тебе близок и интересен, что в пору роман, повесть или поэму пиши. А Скиф решил всем сестрам по серьгам. И так можно. Для меня в этом цикле нашлось много любопытного и верного. Кюхля, персонаж из роскошной пушкинской поры, аттестован как «пристяжной у бессмертья». По-моему, лучше не скажешь. Пиши Кюхельбекер в любую другую эпоху, литераторы не дали бы его в обиду, но на фоне Пушкина... В русской поэзии Скиф всё охватил – от тредьяковско-державинского камнепада 18-го века до тихоструйного Северянина, отдал дань многим советским поэтам. Читатель может вспомнить что-нибудь из истории литературы, вспомнить о том, например, что Клюев умер в Томской тюрьме, а Аполлинер, чего я и не знала, белорус по происхождению. А начинающий поэт, прочитав стихи о Франсуа Вийоне, вполне может решить: если не притаилась в тебе хоть чуточка его бесстрашия перед жизнью, рассчитывать не на что. А ещё я с удовольствием вспомнила, что знаменитая, точнейшая, просто формула России – «Русь, ты вся поцелуй на морозе» – принадлежит Велимиру Хлебникову.

Я долго не хотела читать стихи Скифа о художниках. Моя педагогическая практика сформировала у меня стойкое убеждение, что литератор непременно будет выискивать на плоскости холста какой-нибудь сюжет, рассказ. Но Скиф – другое дело, ведь он окончил педагогическое училище, где готовили многостаночников: при нужде в педагогах, что в деревне обычно, выпускник-словесник вёл физкультуру и рисование – рисование и история искусств в училище были обязательными предметами. Скиф и сам рисует. Так что я недавно всё-таки прочла стихи о художниках. Кое с чем могу и согласиться, с тем, допустим, что в картинах импрессиониста Клода Моне явлен «мир дыханья, свет икон», а в некоторых картинах Пикассо (кроме, конечно, голубого и розового периодов) слышатся отзвуки литавр, что у Дега действительно есть явные предчувствия кинематографа. Понял Володя даже муки пуантилистов, пытающихся соединить «алгебру с гармонией» и т.д. Скиф разжёл желание посмотреть альбом репродукций Эдуарда Мане, он, оказывается, художник «плотоядный», а в стихотворении Леонардо да Винчи Володя даже вызвал зависть:

Как эпохам грешным вызов –
Из живого далека –
Смотрит в душу Мона Лиза,
Пережившая века.

Время мчится: Троя, Спарта...
С болью: быть или не быть? –
Завещал нам Леонардо
Эту женщину любить.

Время глухо. Вечность зыбка.
Умирает каждый след...
Но хранит её улыбка
Потаённой жизни свет.

Пребыванье в мире шатко,
Нам спастись нельзя уже...
Но улыбки той загадка
Открывается уже.

Ему, счастливчику, «улыбки той загадка открывается...». А мне что-то не открывается. Уж и не надеюсь. Вообще-то Скиф взаправду – везунчик и открыватель улыбок и миров. Всё в его творчестве неожиданно и чрезвычайно интересно!

В конце заметок, воспоминаний принято делать какие-то выводы, заключения. Да что-то не хочется. Просто не знаю, как это должно выглядеть. За наше долгое знакомство я не помню, чтобы Скиф, при всей его контактности, свободе общения, что называется, обнажался, «выпрыгался». Он всегда держит себя в узде. Это признак культуры. Конечно, годы нас меняют. Судя по творчеству, он в молодости мог похвалиться силушкой непомерной – «поймаю солнце, как мотылька, и засушу на память». Не знаю, когда он это написал. Знаю, что не сегодня. Мы, кажется, безвозвратно освободились от романтических иллюзий, что с солнцем у нас даже лозунги одни. И Маяковского подзабыли. А жаль. И всё-таки солнечные лучи, и не мотылькового размера, всегда на Скифе пребывают. Скиф выглядит достойным, удачливым человеком, он и вправду такой: и в семье, и в творчестве, вроде всё в порядке. Но все знают – не всё даётся просто, не всё было гладко. Иначе бы не родились такие строки: «Сижу на вражеском пиру // или на дружеской пирушке?! // Мои собратья по перу, // Наполним ядом наши кружки...» Писательская тусовка – дело тонкое, свой успех заслужен и выстрадан, а успех другого – это как посмотреть. При жизни издать семитомник! Как это возможно? Завистников у него не счесть! Правда, по сегодняшним временам это просто «opus grandiosus». Порадоваться бы, что нашёлся автор, который, в отличие от всех остальных, не смирился с явным пренебрежением государства к писательскому труду, с непониманием его роли в судьбе государства и формировании мироощущения народа. Теперь писательство что-то вроде хобби – «землю попашет, напишет стихи». Конечно, у Скифа много друзей, он и сам многим помогает, и всё-таки обидно: чтобы увидеть в печатном варианте плоды своего очень тяжкого труда, приготовься отведать всякого горького под завязку! Так быть не должно!

Владимир Петрович Скиф, вне зависимости от того, состоит ли он в какой-либо должности в иркутском Союзе писателей России или нет, нужен всем. Он человек публичный, любой писательской встрече, дружескому застолью или юбилею, которое ведёт Скиф, успех обеспечен. То же и на собственных поэтических вечерах. Хотя, просмотрев сейчас более или менее внимательно подаренное мне семитомное издание, осмеливаюсь сказать – он не даёт о себе верного представления. Хочется, чтобы Владимир Скиф, автор прекрасной пейзажной и любовной лирики, раздумчивых стихов о России, чаще являл публике своё настоящее поэтическое лицо. Скиф прошёл отпущенные судьбой «все крутояры, все глухомани», честно и сполна выполнил положенное поэту – «себя каждый день – из себя доставать». Читатели должны это оценить.

Жизнь продолжается. Пусть она будет долгой. Поэту в России надо жить долго.